



САГА О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ
ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ВСЁ

Нинель. История одной жизни

АДЖИМАМБЕТОВА ЯНА

Яна Аджимамбетова

Нинель.История одной жизни

«Автор»

2026

Аджимамбетова Я.

Нинель. История одной жизни / Я. Аджимамбетова — «Автор»,
2026

«Нинель. История одной жизни» — это настоящая семейная сага о силе духа, о материнской любви и о том, что счастье не в том, чтобы избежать бед, а в том, чтобы выстоять и увидеть, как твоя жизнь продолжается в детях, внуках и правнуках.

© Аджимамбетова Я., 2026

© Автор, 2026

Яна Аджимамбетова Нинель.История одной жизни

Нинель

Жизнь, которая вместила целый век



Аджимамбетова Яна

Нинель. История одной жизни.

2026

Дорогая бабушка!

Эта книга — о тебе. О твоём детстве в большой семье, о твоей мечте лечить животных, о твоей силе, которая помогала тебе вставать после каждого падения. О том, как ты осталась одна с ребёнком на руках и не сломалась. О том, как вырастила дочерей, дождалась внуков и правнука.

Я знаю, ты никогда не считала свою жизнь чем-то особенным. Ты просто жила. Работала. Любила. Терпела. Но для меня твоя жизнь — это пример. Пример того, что значит быть сильной женщиной.

Спасибо тебе за всё. Эта книга — для тебя.

Есть женщины, о которых не пишут книг. Они не совершают подвигов, не блистают на сцене, не попадают в сводки новостей. Они просто живут: встают затемно, работают, растят детей, провожают близких и встречают новых людей. Они не считают свою жизнь чем-то особенным. А зря.

Потому что именно на таких женщинах держится мир.

Эта книга — история одной из них. Её звали Нинель. Она родилась в большой семье, где была третьим ребёнком из девяти. С детства знала, что такое ответственность: доила коров, нянчила младших, помогала матери. Мечтала стать ветеринаром. Прошла через нужду, позор, предательство, потерю близких. Осталась одна с ребёнком на руках, но не сломалась. Подняла двух дочерей, дождалась внуков и правнука.

Её жизнь — это целая эпоха. От деревенской избы с земляным полом до маленького домика у моря. От девочки, которая просыпалась за минуту до петуха, до бабушки, которая держит на руках правнука и плачет от счастья.

Я записала эту историю так, как она была рассказана мне. Без прикрас. Без вымысла. Потому что иногда самая обычная жизнь оказывается самой удивительной.

Глава 1

Детство, пропахшее парным молоком

Раннее утро

Петух ещё не прокричал, а Нинель уже открыла глаза.

Этому её никто не учил — просто с некоторых пор она стала просыпаться за минуту до того, как хриплый крик разорвёт тишину над деревней. Словно внутри неё тикал свой, особый будильник, который не давал проспать рассвет. Может быть, он передался ей от матери, которая тоже вставала затемно. А может, от бабушки, которую Нина почти не помнила, но о которой говорили, что она никогда не спала больше пяти часов.

В доме было холодно. За ночь печь остыла, и теперь тепло жило только под одеялом — старым, лоскутным, сшитым бабушкой ещё до Нининого рождения. Она лежала, свернувшись клубочком, и слушала дыхание сестёр. Справа тихо посапывала Люда, самая младшая, которой не было ещё и трёх. Её дыхание было лёгким, чуть свистящим — Нина прислушалась: не кашляет ли? Вроде нет. Слева, раскинув руки, спала Валя — на четыре года младше Нины и вечно норовила занять всё одеяло. Нина поправила его, подоткнув Валин край, и тихо, чтобы не скрипнуть половицей, спустила ноги на пол.

Холод обжёг пятки.

Она быстро натянула чулки, юбку, старый свитер старшего брата — всё приготовленное с вечера лежало на табурете у кровати. Нина всегда готовила одежду с вечера. Не потому что мать заставляла, а потому что так было правильно. Так было нужно. С утра, когда на печи уже грелся чугунок с кашей, а младшие один за другим начинали возиться под одеялами, времени на поиски не оставалось.

Она на мгновение задержалась взглядом на спящих сестёр. Люда во сне причмокивала губами — наверное, ей снилось молоко. Валя нахмурилась и что-то пробормотала. Нина улыбнулась. Валя даже во сне с кем-то спорила. Наверное, с Колей. Они вечно спорили.

В доме, где жили двенадцать человек — мать с отцом да девять детей, — у каждого было своё место. Место Нины было третьим от края за обеденным столом, третьей полкой в шкафу для одежды и третьей слева на сеновале, куда она любила забираться, чтобы остаться одной. Но одиночество в этом доме было редким гостем, почти невозможной роскошью.

Она прошла на кухню. Половицы под ногами тихо скрипнули — но только на двух, и Нина знала, на каких именно. Она давно выучила, куда наступать, чтобы не разбудить младших. Мать уже хлопотала у печи — высокая, худая, с узлом седеющих волос на затылке. Она месила тесто для хлеба сильными, привыкшими к работе руками, и тихо напевала какую-то старую песню, слов которой Нина не знала, но мелодию помнила с самого раннего детства.

— Чего вскочила? — спросила мать, не оборачиваясь. — Рано ещё.

— Пойду на ферму. Надя говорила, Зорька вчера плохо доилась. Может, сегодня спокойнее будет.

Мать обернулась и посмотрела на неё долгим, внимательным взглядом. Нина знала этот взгляд. Так мать смотрела на старших детей — на Надю, на Ваню, — когда понимала, что они уже выросли. Но Нине было всего десять. И всё же мать кивнула.

— Иди. Молоко не забудь принести. Людке вчера кашлялось, надо бы тёплого.

— Я помню, — сказала Нина.

Она взяла с полки бидон — холодный, чуть запотевший, — и вышла на крыльцо.

Деревня лежала в низине, окружённая густым смешанным лесом. Сосны и ели стояли стеной вдоль горизонта, а между ними прятались редкие берёзы и дубы. Утренний туман стелился над полем, словно парное молоко, которое Нина скоро понесёт домой в бидоне. Воздух пах прелой листвой и дымом — где-то уже топили печь. Было тихо, только слышно, как за сараем переговариваются соседские собаки, да где-то далеко-далеко, у реки, стучит дятел.

Нина постояла на крыльце, вдыхая утренний воздух полной грудью. Ей нравилось это время — когда вся деревня ещё спит, когда даже собаки не лают в полную силу, а только переговариваются, словно спрашивают друг у друга: «Ну что, пора?» — «Нет ещё. Подождём». Она сунула руки в карманы старого отцовского полушубка, который мать перешила для неё

прошлой осенью. Полушубок был великоват, но зато тёплый. От него пахло овчиной, махоркой и ещё чем-то родным — запахом отца, который Нина узнала бы из тысячи.

Она быстро зашагала по разбитой дороге. До фермы было минут двадцать — сначала через всю деревню, мимо покосившихся заборов и спящих домов, потом через поле, где летом колосилась пшеница, а сейчас чернела промёрзшая земля, и наконец — вверх по пригорку, к длинному деревянному строению с высокой трубой.

По дороге Нина думала о том, что сегодня нужно сделать. Проверить Люду — не поднялась ли температура. Помочь Вале собраться в школу — она вечно теряет свои тетрадки. Отнести молоко соседке, бабушке Ане, у которой в прошлом месяце умер муж и которая теперь совсем одна. Мать не просила — но Нина знала: будет правильно. Будет нужно.

На ферме уже горел свет. Длинное деревянное строение с высокой трубой стояло на пригорке, и из его окон лился тёплый, жёлтый свет. Нина знала здесь каждую корову по имени. Зорька, с белым пятном на лбу — самая добрая. Ласточка, самая спокойная и ласковая. Ромашка, которая всегда норовила лягнуть, если к ней подходили не с той стороны. Старый скотник дядя Миша уже возился у стойла, раскладывая сено. Увидев Нину, он хмыкнул в усы:

— Опять ты раньше всех? Мать прислала?

— Сама, — ответила Нина. — Зорька вчера беспокоилась. Я её подою.

— Ишь ты, — дядя Миша покачал головой. — Сама. Других-то не дозовёшься. Надя вчера еле ноги унесла, как Зорька ей подойник опрокинула. А ты не боишься?

— Не боюсь, — просто сказала Нина.

Дядя Миша посмотрел на неё — маленькую, в отцовском полушубке, с бидоном, который казался слишком большим для её рук, — и ничего не сказал. Только протянул ей подойник.

Нина присела на низкую скамеечку рядом с Зорькой. Корова повернула голову и посмотрела на неё влажными, тёмными глазами. Нина погладила её по тёплому боку и зашептала что-то тихое, успокаивающее. Она всегда разговаривала с коровами — негромко, почти шёпотом. Ей казалось, что они понимают.

— Ну что, Зоренька, — говорила она, — вчера ты Наде не далась. А сегодня давай мы с тобой по-хорошему. Я тебя не обижу. И ты меня не обижай.

Зорька вздохнула — глубоко, протяжно, — и переступила с ноги на ногу.

Первые струйки молока звонко ударили в пустое ведро. В коровнике пахло сеном, навозом и чем-то неуловимо тёплым, живым. Нина работала размеренно, привычно, и в голове её, как всегда в такие минуты, было пусто и хорошо. Никто не кричал, не просил помочь, не дёргал за рукав. Только она и Зорька. Только она и это тихое утро, которое принадлежало ей одной.

Она думала о том, как устроен мир. Вот Зорька — она даёт молоко, чтобы кормить людей. Вот дядя Миша — он встаёт затемно, чтобы ухаживать за коровами. Вот мать — она печёт хлеб. Вот отец — он работает в поле. И все они делают что-то нужное. Что-то важное. И она, Нина, тоже делает что-то важное. Пусть маленькое. Но важное.

Когда она закончила и вышла из коровника, солнце уже поднялось над лесом. Деревня просыпалась. Где-то залаяли собаки, хлопнула дверь, послышался первый крик петуха — тот самый, который она опередила. Нина прищурилась, глядя на золотые лучи, пробивающиеся сквозь сосны, и вдруг почувствовала, как внутри разливается странное, щемящее тепло.

Она ещё не знала, как это называется.

Но это чувство останется с ней на всю жизнь.

Любовь к раннему утру. К миру, который принадлежит только тебе. К тишине, которая наступает перед тем, как проснутся все остальные.

Нина подхватила бидон с молоком — теперь он был тяжёлым, тёплым, живым — и зашагала обратно к дому. Впереди был длинный день: покормить младших, помочь матери, сходить к соседке, сделать уроки, если останется время. Дел было много. Но Нина не жаловалась. Она знала: если не она, то кто?

И она шла по просёлочной дороге, маленькая фигурка в отцовском полушубке, с тяжёлым бидоном в руке, и солнце поднималось над лесом, и туман рассеивался над полем, и где-то вдалеке стучал дятел.

Дом и работа

Когда Нинель вернулась с фермы, дом уже гудел, как улей.

Ещё с крыльца она услышала крик Вали, плач Люды и громкий голос Нади, которая пыталась всех построить и, судя по тону, уже начинала терять терпение. Нина вздохнула, поправила бидон с молоком — он оттягивал руку, был тёплым и влажным от утренней росы, — и толкнула дверь.

В лицо пахло теплом и кисловатым запахом свежего хлеба. Мать уже вынула из печи первый каравай, и он лежал на столе, на чистом полотенце, — круглый, румяный, с хрустящей корочкой, которая тихо потрескивала, остывая. Этот запах — тёплого хлеба, топлёного масла и лёгкого дымка от печи — был запахом дома. Запахом, который Нина пронесёт через всю жизнь и будет узнавать из тысячи других.

— Я кому сказала — не трогай! — кричала Валя, вцепившись в деревянную лошадку. Её рыжие косички растрепались, щёки покраснелись, а глаза метали молнии.

— А я первый взял! — не уступал Коля, дёргая игрушку на себя. Он был младше Вали на два года, но в упрямстве не уступал сестре.

Люда сидела на полу и ревела в голос — не потому что ей была нужна лошадка, а просто за компанию, как часто бывает с трёхлетними детьми, когда вокруг слишком шумно. Её круглое личико было мокрым от слёз, нос покраснел, и она размазывала слёзы кулачками. Валера, самый тихий из младших, забился в угол и молча наблюдал за происходящим, прижав к груди тряпичного зайца с оторванным ухом.

Надя стояла посреди комнаты с тряпкой в руке — она только что подтирала лужу, которую кто-то опрокинул, — и что-то выговаривала обоим спорщикам, но её никто не слушал. Надя была старшей, и ей полагалось поддерживать порядок, но крик у неё получался громкий, а толку — мало. Дети чувствовали, что она злится, и от этого злились ещё больше.

— Хватит! — сказала Нина.

И её голос, негромкий, но твёрдый, перекрыл шум, как луч света перекрывает темноту. Все замерли. Даже Люда перестала плакать и уставилась на сестру мокрыми, удивлёнными глазами. Только печь тихо потрескивала, да молоко в бидоне плеснулось, когда Нина поставила его на стол.

Нина подошла к младшим и присела рядом. Она не стала вырывать лошадку, не стала кричать. Просто положила руку на игрушку — мягко, но уверенно. Её рука была ещё детской, с тонкими пальцами и обломанными ногтями, но в этом жесте уже чувствовалась та спокойная сила, которая будет с ней всегда.

— Валя, — сказала она тихо, но отчётливо. — У тебя есть своя кукла. Ты её любишь?

— Люблю, — буркнула Валя, насупившись.

— А Коля любит лошадку. Ты же не хочешь, чтобы он у тебя куклу отобрал?

Валя нахмурилась. Она была упрямой, но справедливой — в свои девять лет уже понимала, что такое «чужое». Нина видела, как в её глазах борются жадность и совесть. Как сходятся и расходятся светлые брови, как подрагивают губы. Ей было обидно отдавать игрушку, но ещё обиднее — оказаться неправой.

— Я только поиграть хотела, — сказала Валя уже тише.

— Вот и попроси по-человечески. А отбирать нехорошо. Ты же старшая. Ты умная. Ты понимаешь.

Этот аргумент подействовал. Слово «умная» Зина любила больше всего. Она разжала пальцы и отпустила лошадку. Коля тут же прижал её к груди и отошёл подальше — на всякий случай, оглядываясь на сестру.

— Вот и молодцы, — сказала Нина и погладила обоих по головам. У Вали волосы были мягкие, пушистые, как одуванчик. У Коли — жёсткие, непослушные, вечно торчали в разные стороны. — Идите к столу. Мать кашу поставила. И умойтесь — вы оба чумазные, как чертенята.

Вера, наблюдавшая эту сцену, покачала головой и отжала тряпку в ведро.

— Как ты с ними справляешься? У меня уже терпения не хватает. Они ж меня не слушают совсем.

Нина пожала плечами.

— Просто тихо разговариваю. На них если кричать, они ещё громче кричат. А если тихо — слушают. Им, может, просто страшно становится — от крика. А от тихого голоса не страшно.

— Ну да, — усмехнулась Надя, вытирая руки о фартук. — Тихая ты наша.

И в этом «тихая ты наша» не было насмешки. Надя говорила это с уважением — так, как говорят о ком-то, кто умеет делать то, что тебе самой не под силу. Она вообще была отходчивой и доброй, хоть и вспыльчивой, и Нину любила — просто не всегда понимала, как можно оставаться такой спокойной.

Завтрак прошёл как всегда — быстро, шумно, весело. За столом, казалось, никто не сидел спокойно: Петя качал ногами под лавкой, Коля крошил хлеб на стол, Валя пыталась стянуть у него лошадку, а Люда требовала, чтобы её посадили на колени к Нине. Отец с Валера уже ушли в поле — за ними хлопнула дверь ещё затемно, — и за столом остались только мать, Надя, Нина и младшие.

Мать сидела во главе стола, прямая, строгая, но уже не такая напряжённая, как утром. Она разливала кашу — жидкую, пшённую, заправленную каплей топлёного масла, — и следила, чтобы каждому досталось поровну. Нина ела молча, сидя на своём месте — третьем от края, — и чувствовала, как по телу разливается тепло. Каша была горячей, сладковатой от моркови, и Нина ела медленно, чтобы растянуть удовольствие.

Она думала о том, сколько всего нужно успеть сегодня. Убрать со стола. Помыть посуду. Проверить, не кашляет ли Люда. Проводить Валю и Мишу в школу — у них сегодня четыре урока, Валя говорила, что будет контрольная по арифметике. Отнести молоко бабушке Ане. Помочь матери с бельём — оно ещё с вечера мокло в корыте. И вечером, если останутся силы, сделать уроки. Нина училась в четвёртом классе и была почти отличницей — только по чистописанию у неё были «четвёрки», потому что она слишком торопилась.

После завтрака она взяла Люда на руки и унесла в горницу.

Люда была самая младшая — ей не исполнилось ещё и трёх. Она родилась слабенькой, маленькой, с тихим, жалобным криком, и акушерка, принимавшая роды, сказала тогда: «Не выходит. Слишком худенькая. Молитесь». Мать молилась. И Нина молилась — хотя её никто этому не учил. И Люда выжила. Только осталась хрупкой, как былинка на ветру.

Нина уложила сестрёнку на кровать, застеленную старым, но чистым покрывалом, проверила лоб — нет, жара не было, слава Богу, — и дала ей кружку с тёплым молоком. Кружка была глиняная, с отбитым краешком, но Люда любила именно её.

— Пей, маленькая, — сказала Нина, убирая со лба сестры влажную прядку. — Это от Зорьки. Она тебе привет передавала.

— Зойка? — переспросила Люда, ещё не выговаривая «р». Её глаза, большие, серые, как у матери, загорелись любопытством.

— Зорька. Она хорошая. Добрая. Хочешь, завтра с тобой к ней сходим? Она тебя не обидит. У неё нос мягкий, как бархатный. Потрогаешь.

Люда кивнула и припала к кружке. Молоко текло по подбородку, капало на платье, и Нина, достав из кармана чистый платок, вытерла ей лицо. Платок был старенький, вышитый крестиком, — подарок бабушки, которую Нина почти не помнила, но чьи руки, говорили, были такими же заботливыми.

— Ты моя хорошая, — прошептала Нина и поцеловала Люду в макушку. От волос пахло ромашкой — мать мыла детям голову отваром трав.

Потом она помогла Наде убрать со стола. Чугунок с остатками каши был ещё горячим, и Нина обожгла палец, но не ойкнула — только подула и сунула палец в рот. Они с Надей мыли посуду вдвоём: Надя скребла песком, Нина ополаскивала в чистой воде и ставила на полку. За окном уже разгорался день — солнце поднялось выше, и его лучи, проходя сквозь запотевшее стекло, рисовали на деревянном полу радужные квадраты.

Потом Нина одела Валу и Мишу в школу. Валя, конечно, опять потеряла тетрадку — нашла её под кроватью, завернутая в чулок. Миша, тихий и застенчивый, долго не мог застегнуть пуговицы на пальто, и Нина терпеливо, одну за другой, застегнула их сама. Руки у Миши дрожали — он боялся опоздать. Нина улыбнулась и сказала, что всё хорошо, что время ещё есть.

— А ты почему не собираешься? — спросила Валя. — Ты же тоже в школу ходишь.

— Я сегодня дома, — ответила Нина. — Матери помогу. У неё спина болит вчера была.

Это была правда, но не вся. Нина оставалась дома не только поэтому. Просто вчера мать весь день провела на ногах, стирая и развешивая бельё, и Нина видела, как она морщится от боли, наклоняясь за упавшей прищепкой. И Нина решила: школа подождёт. Один день — не страшно. Она догонит.

Проводив младших, она взяла крынку молока — ту, что поменьше, — и пошла к соседке.

Бабушка Аня жила через три дома. Её изба была старой, с покосившимся крыльцом и геранью на подоконниках. Раньше здесь жили двое — бабушка Аня и дед Игнат, но в прошлом месяце дед Игнат умер. Тихо, во сне. Бабушка Аня рассказывала, что он просто уснул и не проснулся, и лицо у него было спокойное-спокойное, словно ему приснилось что-то хорошее. С тех пор она жила одна. Дети её разъехались по городам — кто на завод, кто на стройку, — и приезжали редко.

Нина постучала и, не дожидаясь ответа, приоткрыла дверь.

— Бабушка Аня? Это я, Нина. Молоко принесла.

Внутри пахло травами — бабушка Аня собирала мяту, зверобой и ромашку, сушила их в пучках под потолком. Пахло ещё воском от свечей и старой, сухой древесиной. Бабушка Аня сидела у окна, в кресле с высокой спинкой, и вязала. Спицы тихо позвякивали в её тонких, узловатых пальцах.

— Опять ты, деточка, — сказала она, откладывая вязание. — Да не надо было, право слово... У вас самих вон сколько ртов.

— Мать велела, — соврала Нина. — У нас много молока сегодня. Зорька хорошо доилась.

Бабушка Аня взяла крынку и долго смотрела на Нину. Глаза у неё были выпцветшие, голубоватые, как небо в зимний полдень, но всё ещё зоркие. Она видела то, чего Нина не договаривала.

— Садись, — сказала она. — Посиди со старухой. Чайку попьём. У меня пряники есть — внучка присылала.

Нина села на краешек табуретки, поставив ноги вместе, как учила мать. Бабушка Аня налила ей чаю в старую фарфоровую чашку с золотым ободком — единственную такую в доме. Чай пах мятой и мёдом. Пряник был твёрдым, но сладким, и Нина откусывала по крошечному кусочку, чтобы растянуть удовольствие.

Бабушка Аня расспрашивала о доме: как мать, как отец, как младшие. Нина отвечала коротко, но честно. И вдруг старуха сказала:

— Добрая ты девочка. Вся в мать. И в бабушку свою, царствие ей небесное. Она тоже всё по чужим дворам ходила, помогала. А на себя — никогда.

Нина смутилась и быстро попрощалась. Она не любила, когда её хвалили, — от этого внутри становилось неловко и горячо, и хотелось спрятаться. Она просто делала то, что нужно. Разве за это хвалят?

К вечеру, когда младшие уже спали, а старшие сидели за столом, обсуждая дела на завтра, Нина вышла во двор.

Над деревней висели звёзды — яркие, выпуклые, словно их только что вымыли и развесили сушиться. Такие звёзды бывают только поздней осенью, когда воздух становится прозрачным и холодным. В лесу ухала сова — протяжно, загадочно, — и ей отвечала другая, дальше, у реки. Где-то за полем лаяли собаки, перекликаясь через всю деревню: «Всё ли спокойно?» — «Спокойно. Спим».

Нина забралась на сеновал по шаткой приставной лестнице — на своё место, третье слева, где сено было самое мягкое и пахло клевером. Она легла на спину и стала смотреть в щель между досками, через которую были видны небо и крона старого дуба. Дуб был огромный, его ветви чернели на фоне звёзд, и казалось, что он обнимает всё небо разом.

В доме затихали последние голоса. Мать кому-то что-то говорила — её голос был низким, успокаивающим, как гул колыбельной. Надя смеялась — наверное, Валера рассказал что-то смешное про соседа. А здесь, на сеновале, было тихо. Только сено шуршало под спиной, да в углу возилась мышь, да сверчок где-то внизу тянул свою бесконечную скрипучую песню.

Нина лежала и думала.

Она думала о том, что сегодня был хороший день. Никто не болел, Зорька не брыкалась, младшие почти не ссорились — а если ссорились, то быстро помирились. Думала о бабушке Ане, которая теперь одна в своём доме, и о том, что надо бы завтра снова к ней зайти — может, помочь с уборкой или просто посидеть, как сегодня, за чаем. Старуха говорила, что ей не хватает разговоров.

Думала о Люде, которая растёт слабенькой, как травинка в тени, и о том, что надо бы попросить мать купить ей новые чулки — старые совсем прохудились. Думала о том, что скоро зима, и надо проверить, хватит ли дров, и не протекает ли крыша над сеновалом, и успеют ли отец с Ваней до морозов починить забор у огорода.

Она думала обо всех. Кроме себя.

И только здесь, на сеновале, под звёздами, она на несколько минут позволяла себе просто дышать. Просто быть. Просто Ниной. Не третьей от края, не помощницей, не тихой ответственной девочкой — а просто девочкой, которой десять лет, которая любит смотреть на звёзды и вдыхать запах сухого сена.

И только здесь, на сеновале, под звёздами, она на несколько минут позволяла себе просто дышать. Просто быть. Просто Ниной. Не третьей от края, не помощницей, не тихой ответственной девочкой — а просто девочкой, которой десять лет, которая любит смотреть на звёзды и вдыхать запах сухого сена.

Завтра её снова разбудит внутренний будильник — за минуту до петуха. Завтра она снова пойдёт на ферму, снова будет мирить младших, снова понесёт молоко соседке, снова останется дома вместо школы. Завтра будет трудный день. Но это — её жизнь. Её простая, нужная, правильная жизнь.

И она не променяла бы её ни на какую другую.

С этими мыслями Нина спустилась с сеновала и вернулась в дом. В сенях было темно и холодно — мороз уже пробирался сквозь щели. Она нащупала ручку двери, вошла в комнату, разделась в темноте, стараясь не шуметь, и легла на своё место — третье от края. Валя уже

спала, раскинувшись поперёк кровати, и Нина аккуратно подвинула её, чтобы хватило места. Люда посапывала во сне, причмокивая губами — ей, наверное, снова снилось молоко. С кухни ещё доносились приглушённые голоса — мать с отцом о чём-то говорили. О чём — не разобрать, но голоса были спокойными, усталыми, мирными.

Нина закрыла глаза.

Петух ещё спал. До рассвета оставалось несколько часов. Можно было отдохнуть.

И она уснула — быстро, спокойно, без снов. Потому что день был прожит правильно. Потому что совесть её была чиста, а сердце — полно тихой, ещё не осознанной любви к этому дому, к этим людям, к этой жизни.

Лес

В то утро Нинель проснулась не от внутреннего будильника, а от тишины.

Это была редкая, особенная тишина — такая бывает только воскресным утром, когда даже скотина на ферме ещё дремлет, когда мать не гремит чугунами у печи, а отец не точит косу во дворе. Воскресенье было единственным днём, когда большая семья позволяла себе проснуться позже. Позже — это значит в семь утра, а не в пять. Но для Нины, которая привыкла вставать затемно, даже этот час казался подарком.

Она полежала немного, прислушиваясь к дыханию сестёр. Люда посапывала тихо-тихо, как котёнок, и во сне прижимала к щеке уголок одеяла. Валя, как всегда, раскинулась поперёк кровати, и её нога в шерстяном носке свисала на пол. Нина улыбнулась и поправила одеяло, укрыв Валу до подбородка. В доме было тепло — вчера вечером отец хорошо протопил печь, и она до сих пор хранила жар, как большое каменное сердце.

Вставать не хотелось. Но внутри уже проснулось то особое, щемящее чувство, которое она не умела называть словами, но которое появлялось каждое воскресенье. Чувство свободы. Всего на несколько часов, пока все отдыхали, мир становился чуть-чуть другим. Он не требовал, не кричал, не просил помочь. Он просто был. И он принадлежал ей.

После завтрака — такого же неспешного, с чаем и остатками вчерашнего хлеба, с мёдом, который мать достала по случаю воскресенья, — Нина выскользнула за дверь. Никто не спросил, куда она идёт. Мать была занята младшими: Люда капризничала, Валя опять что-то не поделила с Колей, а Надя ушла к подруге. Ваня спал после ночной смены на ферме. И Нина, впервые за долгое время, была предоставлена самой себе.

Она прошла через огород, где на грядках уже проклюнулись первые ростки лука — зелёные, нежные, как пёрышки, — обогнула старый сарай, на стене которого грелся в утреннем солнце рыжий кот, и вышла к кромке леса.

Лес встречал её тишиной.

Не той тишиной, что в доме, — наполненной дыханием спящих людей, скрипом половиц, гулом печи. Здесь тишина была живой. Она звучала. В ней слышалось, как ветер перебирает верхушки сосен — медленно, задумчиво, словно перелистывает страницы большой книги. Как падает сухая ветка где-то в глубине чащи. Как шуршит в прошлогодней листве невидимый ёж, пробираясь куда-то по своим делам. Как перекликаются птицы — не суетливо, а спокойно, словно здороваются друг с другом после долгой ночи.

Нина шагнула на узкую тропинку, которую знала наизусть, и сразу почувствовала, как с плеч спадает невидимая тяжесть. Здесь, среди сосен и дубов, она не была «третьей от края». Не была «тихой Ниной». Не была «помощницей». Она была просто Ниной — девочкой, которая любила смотреть на небо сквозь кроны деревьев и вдыхать запах смолы.

Эту тропинку показал ей отец — года два назад, когда брал её с собой за грибами. Они шли тогда долго, до самого оврага, и отец рассказывал, какие грибы съедобные, а какие — нет,

и как отличить лисичку от поганки. Нина запомнила всё с первого раза. У неё вообще была хорошая память — мать говорила, что это от бабушки. Но главное, что она запомнила в тот день, — это ощущение, что лес принимает её. Что здесь, среди вековых деревьев, она не чужая.

Сейчас она шла медленно, с наслаждением. Спешить было некуда. Под ногами мягко пружинил мох — густой, ярко-зелёный, кое-где ещё влажный от утренней росы. Нина сняла тапочки и пошла босиком, чувствуя ступнями прохладу земли и мягкость мха. Мать бы заругалась — «простудишься», — но мать была далеко, в доме, и не видела. А Нине было нужно это прикосновение. Живое, настоящее. Не через одежду, не через обувь — кожей к земле.

Сосны уходили вверх, в самое небо. Их стволы были тёплыми на ощупь — янтарными, шершавыми, с капельками смолы, прозрачными и липкими. Нина любила прикасаться к ним. Она останавливалась у каждого дерева, проводила ладонью по коре, чувствовала её тепло и шероховатость. Ей казалось, что деревья чувствуют её прикосновение. Что они отвечают ей — тихим, неслышным гулом, который передаётся не через уши, а прямо в ладони, в грудь, в самое сердце.

Вскоре тропинка привела её к любимому месту — небольшой поляне, окружённой старыми дубами

Здесь было светлее, чем в чаще: солнце проникало сквозь кроны, пробивалось сквозь резные дубовые листья и рисовало на земле золотые круги, которые медленно двигались, подчиняясь движению светила. Посреди поляны лежал большой плоский камень — тёплый от солнца, гладкий, серый, с вкраплениями слюды, которая блестела, как застывшие звёзды. Нина забралась на него с ногами, обхватила колени руками и замерла.

Было тихо. Только птицы пересвистывались в ветвях — синицы, малиновки, яблони, — да где-то глубоко в лесу куковала кукушка. Размеренно, задумчиво, словно отсчитывала чьи-то годы. Нина слушала её и думала: интересно, сколько лет она насчитает мне? Десять? Двадцать? Сто?

Она сидела и слушала лес. Слушала, как дышит ветер. Как шуршат листья. Как где-то далеко, за оврагом, стучит дятел — точь-в-точь как молоток отца, когда он чинит забор.

Она думала о том, как странно устроена жизнь. Дома — шум, крики, вечная суета, и в этой суете она чувствует себя нужной. Здесь — тишина, покой, и она тоже чувствует себя нужной, но по-другому. Дома она нужна другим. А здесь — себе. И это было непривычно. И немного страшно. Как будто она делала что-то запретное — думала о себе. Но в то же время это было сладко — как мёд, который мать давала по большим праздникам.

Вдруг где-то совсем рядом раздался шорох.

Нина замерла, боясь дышать. Из кустов, спотыкаясь о корни, выбрался зайчонок — совсем маленький, с ещё короткими ушами и большими, испуганными глазами. Он хромал. Задняя лапка у него была поджата, и на серой шёрстке темнело влажное пятно. Кровь.

У Нины сжалось сердце. Она знала, что в лесу есть лисы — отец видел их у оврага прошлой осенью. Знала, что зайцы — лёгкая добыча. Но этот был ещё совсем малышом. Он не мог убежать. Не мог спрятаться. Он просто шёл, сам не зная куда, и его бока тяжело вздымались от усталости и боли.

— Ты чего? — прошептала Нина, боясь спугнуть. — Обидел кто?

Зайчонок замер, глядя на неё. Его носик дрожал, уши прижались к спине. Он был напуган, но убежать не пытался — видимо, сил уже не было. Нина осторожно спустилась с камня и присела на корточки, стараясь не делать резких движений. Она знала, как нужно обращаться с животными. Знала по Зорьке, по Ласточке, по соседской собаке. Главное — не напугать. Главное — дать понять, что ты не враг.

— Не бойся, — сказала она тем самым голосом, которым разговаривала с коровами на ферме. — Я тебя не обижу. Дай-ка посмотрю.

Она протянула руку — медленно-медленно, — и коснулась зайчонка кончиками пальцев. Он вздрогнул, но не убежал. Его шёрстка была мягкой, как пух, и тёплой. Нина осторожно взяла его на руки, прижала к груди и почувствовала, как быстро-быстро колотится его сердце. Такое маленькое, такое отчаянное. Оно билось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

— Лапка болит, да? — спросила она тихо. — Ничего. Я тебе помогу.

Она не знала, как помогать зайцам. Но в деревне умели лечить любую животину — коров, коз, кур, — и Нина видела, как мать однажды перевязывала лапу собаке, которую покусали соседские псы. Она помнила, как мать тогда говорила: «Главное — остановить кровь. И чтобы чисто было. А остальное — природа сделает сама».

Нина оборвала подол своей нижней юбки — всё равно старая, мать не заметит, — и аккуратно, как могла, обмотала зайчонку раненую лапку. Ткань была мягкой, хлопковой, много раз стиранной. Получилось не очень ровно, но кровь остановилась. Зайчонок дёрнулся пару раз, а потом затих, словно понял, что боль уходит.

— Вот так, — сказала Нина, поглаживая его по спинке. — Теперь потерпи. Скоро заживёт. Ты только не ходи туда, где лисы. Слышишь?

Зайчонок притих у неё на руках. Его сердечко всё ещё колотилось, но уже не так отчаянно. Нина сидела на камне, прижимая его к груди, и чувствовала странное, новое для себя ощущение. Она держала в руках не просто зверька. Она держала чью-то жизнь. Маленькую, хрупкую, почти невесомую, но настоящую. И эта жизнь доверилась ей.

В лесу по-прежнему куковала кукушка. Где-то далеко стучал дятел. Солнце поднималось выше, и свет на поляне менялся, становился мягче и теплее. Лучи падали на камень, на Нинины босые ноги, на зайчонка, свернувшегося у неё на коленях. И всё это — лес, солнце, камень, зверёк, девочка — было связано в одно целое. В один мир. В одно дыхание.

Нина сидела и думала о том, что, может быть, она для того и пришла сегодня в лес — чтобы оказаться здесь, в этот самый миг, и помочь тому, кто не может помочь себе сам. Может быть, у каждого человека есть такое место и такое время, где он нужен не потому, что обязан, а потому, что может. Просто может. И этого достаточно.

Она просидела так, наверное, час. А может, и больше — в лесу время течёт иначе. Потом осторожно встала и отнесла зайчонка обратно к кустам, где нашла его. Там, под корнями старого дуба, было небольшое углубление — сухое, тёплое, укрытое от ветра. Нина нарвала сухой травы, сделала подстилку и осторожно уложила зайчонка.

— Живи, — сказала она. — И больше не попадайся. Тут лисы есть, слышишь?

Зайчонок смотрел на неё своими круглыми, тёмными глазами, и Нине показалось, что он всё понял. Что он запомнил её. Что когда-нибудь, может быть, он придёт снова — не за помощью, а просто так. Просто чтобы увидеть.

Она поправила траву, укрыла его от ветра и, последний раз погладив по голове, поднялась. Пора было возвращаться.

Домой она вернулась к обеду.

Мать, увидев её, только покачала головой. Подол юбки был неровно оборван — Нина совсем забыла об этом. На коленях зеленели пятна от травы и мха. В волосах запуталась сухая хвоя, а на щеке красовалась царапина — она задела ветку, когда пробиралась к поляне. Нина выглядела так, словно сражалась с лесом и проиграла.

Но мать ничего не сказала. Она просто посмотрела на неё — долгим, внимательным взглядом, — и спросила:

— В лесу была?

— Да, мам.

— И как там?

Нина задумалась. Она хотела рассказать про тишину, про тёплый камень с блёстками слюды, про зайчонка с ранней лапкой и его быстрое сердце. Про то, как лес отвечает ей, когда она к нему прикасается. Про то, что там, среди сосен, она чувствует себя по-другому — не как дома. Слова теснились в груди, но казались слишком взрослыми, слишком сложными для неё.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Очень хорошо.

И мать кивнула. Она не стала расспрашивать дальше — просто приняла ответ, как принимала всё, что делала Нина. С доверием. С пониманием. И от этого на душе у Нины стало тепло, словно мать своим молчанием сказала: «Я знаю. Ты была там, где тебе нужно. И это главное».

Вечером, когда младшие уже уснули, а Надя с Ваней ушли к соседям, Нина снова забралась на сеновал. Звёзды горели ярко, дуб чернел на их фоне, и где-то в лесу, под корнями, спал зайчонок. Она не знала, выживет ли он. Не знала, увидит ли его когда-нибудь снова.

Но она знала другое: сегодня она сделала что-то важное. Что-то, что не связано с домом, с обязанностями, с «надо». Что-то, что шло из самой глубины сердца.

И это что-то было таким же естественным, как дыхание.

Она закрыла глаза. Завтра снова наступит рассвет. Снова закричит петух. Снова нужно будет идти на ферму, мирить младших, помогать матери. Снова будет трудный, долгий день. Но теперь у Нины был лес. У неё была поляна с тёплым камнем и золотыми кругами на земле. И где-то там, под корнями старого дуба, жил зайчонок, которому она помогла.

Этого было достаточно.

Она уснула с улыбкой. И снился ей лес — зелёный, живой, полный света и тишины. И зайчонок, бегущий по тропинке — быстро, легко, без хромоты. И камень, горячий от солнца. И голос кукушки, которая насчитала ей сто лет.

Глава 2

Юность. Время когда деревья были большими

Школьные годы

Школа находилась в соседнем селе, и каждое утро Нинель отправлялась в путь, когда солнце ещё только-только поднималось над лесом.

Дорога занимала почти час пешком. Сначала нужно было пройти через поле — летом оно золотилось пшеницей, и ветер гнал по колосьям волны, похожие на морские. Потом — через берёзовую рощу, где даже в жару было прохладно, а под ногами шуршали прошлогодние листья и хрустели упавшие ветки. А потом — по старому деревянному мосту через ручей, который весной разливался так, что вода доходила до самых досок, и приходилось перепрыгивать с камня на камень, рискуя зачерпнуть воду в сапоги. Зимой было труднее: тропинку заметало снегом, и Нина шла первой, прокладывая дорогу для младших — Валя, Коли, Миша. Они плелись сзади, сонные, закутанные в платки и старые отцовские тулупы, и Нина то и дело оборачивалась, чтобы проверить, не отстал ли кто.

Школа была большим деревянным зданием с облупившейся голубой краской и высоким крыльцом, на котором в перемену всегда толпились ученики. Ступеньки были стёрты сотнями ног, а перила отполированы до блеска ладонями. Над входом висела вывеска, которую каждый год подкрашивали к первому сентября, но буквы всё равно выцветали на солнце. Внутри пахло мелом, чернилами, старыми половицами и ещё чем-то кисловатым — не то капустой из столовой, не то сыростью из подвала.

В классе Нинель сидела у окна.

Это место она выбрала сама ещё в первый год, и с тех пор никому не уступала. Отсюда был виден лес — тот самый, в который она ходила по воскресеньям. Верхушки сосен покачивались на ветру, и, когда урок становился особенно скучным — например, на чистописании, которое Нина не любила, — она смотрела на них и думала о своём. О том, как там сейчас, на поляне. О том, не пришёл ли зайчонок, которого она спасла когда-то. О том, как пахнет мох после дождя.

Училась она хорошо, хотя и не была круглой отличницей. Точнее, могла бы быть — память у неё была цепкая, как репей, всё схватывала на лету: и даты по истории, и правила по русскому, и задачи по арифметике. Но времени на домашние задания почти не оставалось. После школы нужно было помогать матери, сидеть с младшими, идти на ферму, таскать воду, топить печь, штопать одежду. Учебники Нина открывала поздно вечером, когда все уже спали, — при свете керосиновой лампы, шурясь и поднося страницу почти к самому стеклу, пока глаза не начинали слипаться. Иногда она засыпала прямо за столом, и мать, проходя мимо, тихо вынимала учебник из её рук и накрывала дочь платком.

Больше всего она любила биологию.

Старый учитель Иван Петрович был человеком странным и увлечённым. Сутулый, в очках с толстыми стёклами, которые делали его глаза огромными и немного испуганными, он ходил по классу, размахивая указкой, и говорил о живом так, словно сам был частью природы — частью леса, поля, реки. Он мог пол-урока рассказывать о том, как дышит лягушка или как устроен глаз стрекозы, и не замечал, что половина класса спит, а вторая половина играет в крестики-нолики на последней парте.

Но Нина слушала.

Однажды Иван Петрович принёс в класс чучело лисы — старое, с вытертой на боках шерстью и стеклянными глазами, — и плакаты с изображением внутренних органов коровы. Он развернул их на доске, прижав края учебниками, чтобы не сворачивались, и начал объяснять, как работает сердце, как устроены лёгкие, почему корова даёт молоко и отчего у неё может заболеть вымя. Весь класс морщился и отворачивался — кому-то было противно, кому-то скучно. Валя, самая бойкая девчонка в классе, громко шептала подруге: «Фу, какая гадость!». А Нина сидела, подавшись вперёд, и не могла оторвать глаз.

Ей было не противно. Ей было интересно.

Как устроено сердце? Почему лёгкие дышат? Отчего кровь бежит по жилам и что делать, если она остановится? Ей хотелось знать всё это — не для оценки, не для похвалы, а просто потому, что это было нужно. Нужно ей самой. Нужно тем, кого она любила, — коровам на ферме, собаке у соседей, зайчонку в лесу.

— Ветеринар — это не просто врач, — говорил Иван Петрович, расхаживая между партами и размахивая указкой. — Это друг животных. Тот, кто понимает их без слов. Тот, кто слышит их боль.

И Нина думала: «Я понимаю. Я слышу. Я умею».

После урока она задержалась у учительского стола, разглядывая плакаты. Они были старые, потрёпанные, с загнутыми уголками, но Нине они казались самыми интересными картинками на свете. Она водила пальцем по контуру коровьего сердца, по линиям лёгких, по схеме кровеносных сосудов. Иван Петрович заметил её интерес, подошёл и встал рядом. Он не торопил её, не спрашивал, почему она не идёт на перемену. Он просто молчал и ждал.

— Что, Нинель, хочешь лечить зверей? — спросил он наконец, поправляя очки.

— Хочу, — ответила она тихо, но твёрдо.

Это был первый раз, когда она произнесла это вслух. И от звука собственного голоса внутри что-то дрогнуло — словно дверь, которую она долго держала закрытой, вдруг приоткрылась.

— Это хорошее дело, — сказал Иван Петрович. — Но трудное. Учиться надо долго. Сначала школа, потом техникум или институт. Книг много читать. Анатомию знать, физиологию, болезни. Это тебе не просто корову за хвост подёргать.

— Я не боюсь трудностей, — сказала Нина.

— Знаю, — он вздохнул. — Потому и говорю с тобой. Ты девочка способная. У тебя дар. Но, — он сделал паузу и посмотрел на неё поверх очков, — родители отпустят тебя в город?

Нина не ответила. Она опустила глаза и стала разглядывать носки своих стоптанных туфель. Иван Петрович вздохнул ещё раз, на этот раз тяжелее.

— Подумай, Нинель. Подумай. Жизнь длинная. Может, ещё и сложится.

Он погладил её по голове — неуклюже, но тепло, — и пошёл к своему столу, где его уже ждала стопка тетрадей. А Нина ещё долго стояла у плакатов, глядя на коровье сердце, и думала.

Она думала о Зорьке, которая старела и скоро, наверное, совсем перестанет давать молоко. О Ласточке, которая боялась чужих рук, но доверяла ей. О Ромашке, которую она спасла, когда та заболела, — просто сидела рядом, поила отваром ромашки и разговаривала. О том ветеринаре из района, который сказал: «Такие, как ты, — прирождённые. Тебе бы учиться».

И ещё она думала о том, что дома — девять детей. Что она — третья. Что мать без неё не справится, что Люда ещё маленькая, что Валя и Коля вечно ссорятся, что Надя скоро выйдет замуж и уедет, а Ваню могут забрать в армию. Что каждая пара рук на счету. Что её мечта — это роскошь, которую она не может себе позволить.

Домой она возвращалась медленно, пропуская младших вперёд. Валя и Коля бежали наперегонки, Миша плёлся сзади, размахивая портфелем. А Нина шла и смотрела на лес, на верхушки сосен, на небо, которое уже начинало темнеть.

Она не знала, сбудется ли её мечта. Не знала, отпустят ли её в город. Не знала, хватит ли у неё сил и смелости.

Но теперь она знала другое: у неё есть мечта. И это уже было что-то. Уже больше, чем просто «надо». Уже больше, чем просто «кто, если не я».

Вечером она снова открыла учебник биологии при свете керосиновой лампы — и читала его уже по-другому. Не потому что задали. А потому что хотела знать. И коровье сердце на старом, потрёпанном плакате всё ещё стояло у неё перед глазами — живое, горячее, бьющееся.

Как её собственное.

Ферма

После школы Нинель не шла домой сразу.

Домой — это значило опять погрузиться в шум, в крики, в бесконечные споры младших. Домой — это значило помогать матери, сидеть с Людой, проверять уроки у Вали и Коли, таскать воду, чистить картошку, штопать одежду. Всё это было нужно, всё это было правильно. Но прежде чем окунуться в домашнюю суету, Нинель позволяла себе маленькую передышку. Она сворачивала к ферме.

Ферма была её вторым домом. А может быть, даже первым — потому что здесь, среди коров и сена, она чувствовала себя не просто нужной, а по-настоящему своей. Здесь всё было знакомо и понятно. Здесь никто не кричал, не требовал, не дёргал за рукав. Здесь пахло сеном и парным молоком, здесь тихо мычали коровы и мерно стучал доильный аппарат, здесь время текло медленно и спокойно, подчиняясь не человеческой суете, а природному ритму — дойка, кормление, отдых.

Длинное деревянное строение стояло на пригорке, как и много лет назад. Только труба закоптилась сильнее, да крыльцо ещё больше покосилось. Нина толкнула тяжёлую дверь и

вошла в полумрак коровника. В лицо пахнуло теплом, навозом, сеном и чем-то неуловимо живым — тем самым запахом, который она помнила с самого раннего детства и который никогда не казался ей неприятным. Это был запах труда. Запах жизни.

— Опять ты, — раздался знакомый голос.

Дядя Миша, старый скотник, сидел на перевернутом ведре у стойла Зорьки и курил самокрутку. Он был всё такой же — сутулый, с седыми усами, в засаленном ватнике, который, казалось, не снимал никогда. Его лицо, обветренное и морщинистое, напоминало кору старого дуба, а глаза — выцветшие, но всё ещё зоркие — смотрели на мир с тем спокойным пониманием, какое бывает только у людей, всю жизнь проживших рядом с животными.

— Здравствуйте, дядь Миш, — сказала Нина, ставя портфель у двери. — Как Зорька?

— А что ей делается? Стареет. Как я. Молока меньше даёт, спит больше. Но ещё держится.

Нина подошла к стойлу. Зорька повернула голову и посмотрела на неё своими большими, влажными, всё понимающими глазами. В её взгляде не было тревоги — только спокойное узнавание. Нина погладила её по тёплому носу, провела ладонью по бархатной шерсти между ушами. Зорька тихо вздохнула и прикрыла глаза — ей нравилось, когда Нина была рядом.

— Она тебя любит, — сказал дядя Миша. — Ты на неё посмотри: чужих она до сих пор к себе не подпускает, а к тебе сама тянется.

— Я её с детства знаю, — ответила Нина. — Она ещё когда тёлочкой была, я к ней приходила.

— Помню, — дядя Миша затянулся самокруткой и выпустил дым в потолок. — Ты мелкая была, а уже с подойником управлялась. Другие дети играть бегут, а ты — на ферму. Странная ты, Нинель.

— Странная? — она обернулась к нему.

— Не в плохом смысле. В хорошем. Другие в твои годы о танцах думают, о парнях. А ты — о коровах. Это дар. Не у всех такой есть.

Нина промолчала. Она взяла щётку и начала чистить Зорькин бок — медленно, размеренно, длинными движениями. Корова стояла смирно, только иногда переступала с ноги на ногу и тихо мычала от удовольствия. Шерсть под щёткой блестела, становилась гладкой, и Нина чувствовала, как вместе с пылью и грязью уходит что-то ещё — её собственная усталость, накопившаяся за долгий школьный день.

— Дядь Миш, — сказала она вдруг, — а как вы думаете, трудно быть ветеринаром?

Старый скотник хмыкнул и затушил самокрутку о подошву сапога.

— А ты что, всё ещё об этом думаешь?

— Думаю.

— Трудно, — сказал он честно. — Учиться трудно, работать трудно. Животные болеют, умирают, и ты не всегда можешь им помочь. Иногда стоишь и смотришь, как корова мучается, а сделать ничего не можешь. И сердце разрывается. Это не просто работа, Нинель. Это служение.

Нина перестала чистить Зорьку и посмотрела на дядю Мишу. Он говорил редко, но когда говорил — всегда по делу. И сейчас она чувствовала, что он не просто отвечает на вопрос, а предупреждает. Готовит её к тому, что может ждать впереди.

— Но если ты этого хочешь, — продолжил он, — если это твоё — никакие трудности не остановят. Ты меня понимаешь?

— Понимаю, — тихо ответила она.

В коровнике было тихо. Только Зорька жевала сено, хрустя сухой травой, да где-то в дальнем углу Ласточка переступала с ноги на ногу, позвякивая цепью.

Нина закончила чистить Зорьку и перешла к Ласточке. Эта корова была молодой, сильной, но нервной — она боялась резких движений, боялась чужих рук, и только Нине позволяла

к себе подходить. Нина заговорила с ней тихо, почти шёпотом, и Ласточка, повернув голову, уставилась на неё влажным, настороженным глазом.

— Ну что, красавица? — сказала Нина. — Опять боишься? Не бойся. Свои все.

Ласточка фыркнула и успокоилась. Нина принялась её чистить, чувствуя, как напряжённые мышцы под шерстью постепенно расслабляются.

— Вот так, — прошептала она. — Вот так, хорошая.

Дядя Миша молча наблюдал за ними. Он многое повидал на своём веку — разных работников, разных людей. Но таких, как Нинель, встречал редко. Она понимала животных без слов. Чувствовала их боль, их страх, их доверие. И это был настоящий дар — не купленный, не заученный, а данный откуда-то свыше.

В тот день на ферме случилось происшествие.

Ромашка, самая строптивая корова, которую Нина знала ещё с детства, вдруг отказалась от корма. Она стояла в своём стойле, понурив голову, и не притрагивалась к сену. Глаза у неё потускнели, дыхание стало тяжёлым, из носа текло что-то густое и мутное. Дядя Миша вызвал ветеринара из района, но тот обещал приехать только на следующий день — в соседнем хозяйстве случился падёж, и он не успевал.

— Не дотянет до завтра, — мрачно сказал дядя Миша. — Видишь, как дышит? Лёгкие забиты. Если не помочь сейчас — всё.

Нина стояла у стойла Ромашки и смотрела на неё. Сердце сжималось от беспомощности. Она вспомнила всё, что знала о болезнях коров, — из разговоров с Иваном Петровичем, из книг, которые читала по вечерам, из рассказов того ветеринара, что приезжал в прошлый раз.

— Нужно отвар ромашки, — сказала она вдруг. — Тёплый. И растирать бока. И дышать ей помочь — окно открыть, пусть свежий воздух идёт.

Дядя Миша посмотрел на неё с сомнением, но спорить не стал. Он привык доверять Нине — за эти годы она ни разу его не подвела.

Нина вскипятила воду на старой плитке в подсобке, заварила ромашку — целую горсть сухих цветков, которые хранились здесь же, в холщовом мешочке. Остудила до тёплого и осторожно, по глотку, влила Ромашке в рот. Корова сопротивлялась слабо — у неё уже не было сил. Потом Нина принялась растирать ей бока — долго, упорно, пока руки не заныли от усталости. Она разговаривала с Ромашкой тем же тихим, спокойным голосом, что и с Зорькой, и с Ласточкой, и с зайчонком в лесу когда-то.

— Дыши, Ромашка, — говорила она. — Дыши, хорошая. Ты сильная. Ты справишься.

И Ромашка дышала. Тяжело, с хрипом, но дышала. Её бока поднимались и опускались, глаза то закрывались, то открывались снова. Нина сидела рядом с ней до самой темноты, забыв про уроки, про дом, про усталость. Дядя Миша несколько раз заходил в коровник, качал головой и уходил. Он не мешал ей — знал, что если кто и может помочь, то только она.

Поздно вечером Ромашке стало легче. Дыхание выровнялось, из носа перестало течь. Она подняла голову, посмотрела на Нину и тихо, благодарно мыкнула.

— Ну вот, — прошептала Нина, гладя её по лбу. — Я же говорила.

Ветеринар приехал на следующий день — усталый, запыхлённый, с тяжёлым чемоданчиком в руке. Он осмотрел Ромашку, послушал её лёгкие, проверил глаза и рот. Потом обернулся к Нине, которая стояла рядом, всё ещё бледная после бессонной ночи.

— Кто это сделал? — спросил он.

— Что сделал? — не понял дядя Миша.

— Отвар, растирание, доступ воздуха. Кто ей помог?

Дядя Миша молча кивнул на Нину. Ветеринар перевёл на неё взгляд — внимательный, изучающий.

— Где училась?

— Нигде, — ответила Нина. — Просто видела, как вы в прошлый раз лечили. И книжки читала.

— Книжки, — повторил ветеринар и вдруг улыбнулся — устало, но тепло. — Знаешь, девочка, я за тридцать лет работы редко встречал людей, у которых есть чутьё на животных. Это не из книг берётся. Это вот здесь, — он прикоснулся к груди, туда, где сердце. — Ты Ромашку спасла. Без тебя она бы не дожила до утра.

Нина опустила глаза. Ей было неловко от похвалы, но внутри разливалось странное, горячее чувство. Не гордость — что-то другое. Подтверждение. Словно кто-то большой и мудрый сказал ей: «Ты на правильном пути. Не сворачивай».

— Тебе бы учиться, — добавил ветеринар, собирая свои инструменты. — Из тебя толк выйдет. Жаль, если такой талант пропадёт в деревне.

Он уехал, а его слова остались. Они повисли в воздухе коровника, смешались с запахом сена и ромашки, впитались в деревянные стены. И Нина, возвращаясь домой поздним вечером, снова думала о том же, о чём думала уже много раз.

Уехать в город. Выучиться на ветеринара. Помогать животным — не только здесь, на маленькой ферме, а везде, где она будет нужна. Это была её мечта — тихая, но упрямая.

Но дома её ждали. Люда ещё не спала — сидела на кровати и ждала, когда сестра вернётся. Валя с Колей опять поссорились, и Надя, уставшая и злая, ходила по кухне, хлопая дверцами. Мать сидела у стола, подперев голову рукой, — спина опять болела, и Нина видела, как она морщится при каждом движении. Ужин ещё не готов, вода не принесена, дрова не наколоты.

Нина переступила порог — и мечта отступила. Спряталась глубоко-глубоко, до лучших времён. Сейчас было не до неё. Сейчас нужно было жить. Помогать. Быть нужной здесь и сейчас.

Она молча взяла ведро и пошла за водой. На улице было темно, только звёзды горели над лесом — те же звёзды, что и в детстве. Где-то далеко ухала сова, и ей отвечала другая. Нина остановилась на полпути к колодцу, подняла голову к небу и прошептала:

— Когда-нибудь.

И пошла дальше.

Разговор с Надей

Вечер опускался на деревню, как тёплая ладонь матери на лоб больного ребёнка — мягко, бережно, обещая покой.

Солнце уже спряталось за зубчатой стеной леса, и небо над полем окрасилось в глубокий сиреневый цвет с тонкой золотой полоской у горизонта — словно кто-то провёл по нему кистью, обмакнутой в расплавленное золото. От земли поднималась прохлада, смешанная с запахом прелой листвы, влажной после недавнего дождя, и горьковатым дымком — где-то на соседней улице топили баню, и ветер доносил оттуда берёзовый дух. В луже у колодца отражалось темнеющее небо, и первые, ещё робкие звёзды дрожали в этой луже, как брошенные в воду серебряные монетки.

Нинель сидела на крыльце и чистила картошку.

Дело было привычное, монотонное, почти механическое. Нож мелькал в её руках — быстро, ловко, с той особой сноровкой, которая приходит только после тысяч повторений. Тонкая коричневая кожура срезалась длинной спиралью и падала в старое оцинкованное ведро, стоявшее у ног. Рядом, на верхней ступеньке, стояла большая эмалированная кастрюля с холодной водой, в которую Нина бросала очищенные клубни — гладкие, светло-жёлтые, похожие на крупную речную гальку. Вода была ледяной, от неё сводило пальцы, но Нина не обращала

внимания. Она вообще редко обращала внимание на собственные неудобства — просто вытирала руки о фартук и продолжала работать.

Картошки было много — целое ведро, доверху наполненное клубнями разного размера. Семья большая, двенадцать человек, одним ведром не обойдёшься. Завтра с утра мать поставит варить сразу две большие кастрюли — на завтрак и на обед. И Нина знала: если она не дочистит сегодня, мать будет делать это сама, согнувшись над ведром при тусклом свете керосиновой лампы, морщась от боли в спине. Этого Нина допустить не могла.

Хлопнула калитка.

Звук был знакомым — деревянная щеколда ударилась о столб, и калитка, просевшая на петлях, издала свой обычный скрип. Нина подняла голову. Во двор вошла Надя.

Она вернулась не с гулянки, как обычно, а откуда-то издалека — это чувствовалось по тому, как она шла: не спеша, задумчиво, глядя под ноги. На ней было её лучшее платье — тёмно-синее в белый горошек, которое мать сшила ей прошлым летом, — и новые туфли, уже чуть запылившиеся. В руках она держала какую-то бумагу, свёрнутую в трубочку и перевязанную бечёвкой. Лицо её было странным — не радостным и не грустным, а каким-то отсутствующим, словно она всё ещё находилась там, откуда только что вернулась, а здесь, на знакомом дворе, присутствовала лишь телом.

— Ты где была? — спросила Нина. — Я уж думала, ты к ужину опоздаешь.

Надя не ответила. Она медленно поднялась на крыльцо, села рядом с сестрой и положила бумагу на колени. Руки её слегка дрожали — то ли от холода, то ли от волнения.

— Что случилось? — Нина отложила нож и повернулась к ней всем телом. Тревога кольнула сердце. — Мама? Папа? Что-то с младшими?

— Нет-нет, — Надя покачала головой. — С ними всё хорошо. Это другое.

Она развернула бумагу. Это был официальный документ — с печатью, с гербом, с подписями. Бумага была плотной, желтоватой, пахла канцелярией и чем-то казённым. Нина не умела читать такие документы, но слово «распределение» в самом верху разобрала сразу.

— Меня направляют в Германию, — сказала Надя. Голос её прозвучал глухо, словно она сама до конца не верила в то, что говорит.

Нина замерла. Нож, забытый в руке, повис в воздухе. Ей показалось, что она ослышалась. Германия? Это слово звучало как что-то из учебника географии — далёкое, чужое, не имеющее отношения к их жизни. Германия — это там, где война была когда-то, где жили люди, говорившие на чужом языке, где города с непривычными названиями. И туда — её сестра?

— Подожди, — сказала она, кладя нож на край кастрюли. — Объясни толком. Какое распределение? Ты же на швею училась.

— На швею, — подтвердила Надя. — А теперь там, в Германии, открывается новая фабрика. Большая, современная. Им нужны молодые специалисты. Наши, советские. Те, кто умеет работать. Мне предложили — и я согласилась.

— Согласилась? — Нина смотрела на сестру во все глаза. — Ты согласилась уехать в другую страну? На сколько?

— На три года, — тихо ответила Надя. — Контракт на три года. А там — кто знает. Может, продлят. Может, я сама не захочу возвращаться.

В воздухе повисла тишина. Только ветер шумел в ветвях старого дуба, да где-то в хлеву вздыхала корова. Нина молчала, пытаясь осмыслить услышанное. Её старшая сестра, Надя — та самая Надя, с которой они делили одно одеяло в детстве, которая учила её заплетать косы и рассказывала сказки на ночь, — уезжает. Не в соседний район, не в областной центр, а в другую страну. За тысячи километров.

— А как же... — начала Нина и осеклась.

— Как же что? — Надя повернулась к ней, и в её глазах Нина увидела то, чего не видела раньше. Не страх. Не сомнение. А решимость. Тихую, но твёрдую.

— Как же мы? — выдохнула Нина. — Как же дом? Родители? Младшие?

— Нина, — Надя взяла её за руку. Ладонь у неё была холодной, но пожатие — крепким. — Я не могу остаться здесь навсегда. Понимаешь? Не могу. Если я не уеду сейчас, я никогда не уеду. Выйду замуж за какого-нибудь парня с лесопилки, нарожаю детей и буду до старости доить коров и чистить картошку. Это не плохая жизнь — это просто не моя жизнь.

Нина молчала, глядя на бумагу с печатью. Она понимала сестру. Понимала лучше, чем кто-либо другой. Она сама мечтала уехать — пусть не в Германию, но в город, учиться на ветеринара. И она знала, что значит хотеть чего-то большего, чем деревенская жизнь. Но одно дело — мечтать. И совсем другое — решиться.

— Родители знают? — спросила она.

— Отец знает. Он сказал: «Поезжай». Мать пока молчит. Она боится. Ты же её знаешь — она никогда дальше района не выезжала. Для неё Германия — это как на Луну.

— Не только для неё, — пробормотала Нина.

Надя вдруг улыбнулась — той самой улыбкой, которую Нина помнила с детства. Светлой, немного растерянной, но тёплой.

— Знаешь, что я подумала, когда мне предложили? Я подумала: вот он, шанс. Единственный. Если я его упущу — буду жалеть всю жизнь. А я не хочу жалеть. Я хочу увидеть мир. Хочу научиться новому. Хочу потом, через много лет, рассказывать своим детям — или племянникам, — что я была там, далеко, и ничего не боялась.

Нина смотрела на сестру и чувствовала, как внутри что-то меняется. Она всегда считала Надю старшей, но какой-то... простой. Обычной. А сейчас перед ней сидела совсем другая женщина — взрослая, смелая, готовая к прыжку в неизвестность.

— Когда? — спросила Нина тихо.

— Через месяц. В конце октября. Сначала в Москву, потом поездом до Берлина. Там нас встретят, расселят в общежитие. Я уже всё узнала.

— Через месяц, — повторила Нина, и слово это упало между ними, как камень в воду.

Месяц. Всего тридцать дней. А потом — пустота. Нина представила себе дом без Нади, и ей стало холодно. Кто будет помогать матери? Кто будет сидеть с младшими, когда она сама уйдёт в школу или на ферму? Кто будет петь по вечерам за работой? С Надей уходила не просто сестра — уходила часть её собственной жизни, часть привычного уклада.

— Ты справишься, — сказала Надя, словно прочитав её мысли. — Я знаю, что справишься. Ты у нас сильная.

— Я не сильная, — покачала головой Нина. — Я просто делаю, что нужно.

— Это и есть сила, — Надя сжала её руку крепче. — Слушай, Нина. Я хочу, чтобы ты кое-что пообещала мне. Не сейчас. Когда-нибудь. Когда младшие подрастут, когда родителям станет легче. Ты тоже уедешь. Ты выучишься на ветеринара. Ты не останешься здесь навсегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.